

# НЕВЕСТА ДЛЯ ЗАБЫТОГО



САНАА БОВА

СанаА Бова  
**Невеста для Забытого**

«Автор»

2025

## **Бова С.**

Невеста для Забытого / С. Бова — «Автор», 2025

В мире, где память — проклятие, а забвение стало единственной защитой от боли, рождённая без имени Айрина ищет себя среди теней исчезнувших жизней. Здесь солнце не встаёт уже четыреста дней, лампы горят наперекор тьме, а любое слово может украсть не только голос, но и душу. В деревне, где дети учатся молчанию, а взрослые боятся даже шёпотом назвать любимых, Айрина бросает вызов богине забвения, чтобы вернуть себе имя, прошлое и право на любовь. Её путь — это спуск в Крипту, где живёт тот, кого забыли первым. Его любовь к погибшей невесте превратила его в стража чужих судеб и языка, что умеет не забывать. Между живыми фресками, книгами смерти и ритуалами безымянных, Айрина сражается с Меа — сущностью, питающейся утраченной памятью, и с орденом Инквизиторов, мечтающих стереть не только события, но и сами причины боли. Каждый её шаг — это борьба за собственное "я", против власти, которая правит забвением.

© Бова С., 2025

© Автор, 2025

## Содержание

ПРОЛОГ. Тот, кого забыли первым.	5
Глава 1. Деревня, в которой не говорят имён	11
Глава 2. Сайр и кукла с каменным лицом	20
Глава 3. Игры пустоты	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# СанаА Бова

## Невеста для Забытого

### ПРОЛОГ. Тот, кого забыли первым.

Иногда Йоре снилось, будто она никогда не была ни старой, ни женщиной, ни хранительницей вьюжных лет, а была лишь глухой стражницей на пороге чужого сна. Она смотрела, как к краю мира подходит тень – тонкая, длинная, с шагами из сухой прошлогодней травы, и знала, что за этой тенью будет новое имя для их дома, новое лицо для усталых стен, новая рана, затянута поверх прежних. Иногда казалось: это её собственная память выходит из леса, чтобы снова стать чужой.

В ту весну, когда ещё существовали границы между временами года, и ночь пахла не сыростью, а талой водицей, в ту весну, когда речные льды ломались, как седые ногти у повитух, а облака были пепельными, в ту весну она увидела его. Имя тогда ничего не значило, но всё-таки его звали Адамом, так его назвала сама деревня, слишком уставшая от потерь, чтобы придумывать новые слова. В этот раз имя не было знаком, только отпечатком, стирающимся с ладони.

Он вошёл в деревню не в полдень, как приходят путники, и не в полночь, как бродят воры, а в промежутке между сном и явью, когда даже куры во дворах сидят тихо, а на печках спят ещё не проснувшиеся дети. Йора вспоминала, как воздух стал вязким, как сырое тесто, как по изгородям прокатился слабый ветер, будто кто-то тянул его за край. В том ветре была тоска, не похожая ни на голод, ни на одиночество, а на предчувствие долгого молчания.

Он пришёл один. За его спиной не было вьюка, только скатанная тряпица, похожая на саван, и чёрная, плоская коробка, перевязанная бечёвкой, как будто внутри лежала не вещь, а чья-то душа. Он не был ни молод, ни стар; его глаза были тёмные, как влага под корнями дуба, и в них отражался страх, знакомый тем, кто хоронит самое дорогое. Одежда чужая, не по сезону: длинная рубаха, похожая на монашескую, да пояс из обугленной верёвки. Он прошёл между домами, неся на плечах слёзы не своих женщин.

В ту ночь никто не посмел выйти ему навстречу, даже собаки не залаяли. Лишь у калитки стояла Йора, тогда ещё сильная и быстрая, с косой через плечо и тяжёлой, несломленной спиной. Она смотрела, как он ступает по мокрой земле, неуверенно, будто шаги отбирали у него часть тела.

– Кто ты? – спросила она, не сводя глаз с его рук.

Он не ответил.

– Здесь не любят немых, – бросила она, – и не ждут тех, кто приходит без имени.

Он поднял на неё взгляд – спокойный, в котором уже была и усталость, и смирение, и отчаяние, и гордость. Он прошёл мимо, не дотронувшись до неё ни словом, ни взглядом, только легонько склонив голову, словно принял чужое наказание за своё.

Позже, когда старейшины спросили Йору, что за человек пришёл на их землю, она только пожала плечами.

– Может, тот, кого забыли первым, – сказала она. – Или тот, кто помнит всех остальных.

Всю первую неделю он жил, как призрак. Селился на краю деревни, где за ветхой изгородью начинались заросли крапивы и старая часовня с обвалившейся крышей. Там, под скрипом ветра и шумом водяного жука, он ночевал, не зажигая ни свечи, ни костра. Йора заметила: к его дому никто не подходил, даже дети обходили его стороной, будто во дворе лежал не человек, а проклятие.

Но постепенно вокруг него стали собираться случайные прохожие – кто-то из молодых, кому не давали имени, старики, которые забывали своё, женщины, у которых уходили мужья. Они садились на мокрую траву и слушали, как он молча перебирает пальцами по грязи буквы, которых никто не знал. Иногда он писал палочкой на земле непонятные знаки, и Йора видела: в этих линиях есть ритм, которого нет ни в одной из их песен.

По вечерам, когда с холмов тянуло промозглой стылёю, Адам открывал свою коробку и выкладывал из неё свитки, пахнувшие пылью, чёрной солью и дымом. Он не читал их вслух, но иногда шептал слова, будто боялся, что они разобьются о воздух и исчезнут навсегда.

В ту ночь, когда впервые выпал иней на скошенные поля, Йора решила подойти ближе. Она видела, как он сидит у стены, а рядом с ним лежит раскрытый свиток, не древний, но явно чужой. Адам гладил его, как гладят щеку спящей жены.

– Это язык мёртвых? – спросила она, садясь напротив, так, чтобы его глаза были на уровне её колен

– Это язык, который не умеет забывать, – ответил он.

Тогда она впервые заметила у него под волосами крохотный знак – выжженный на виске, как напоминание о боли, которую нельзя изгнать.

– И зачем тебе всё это?

– Чтобы помнить ту, которая была всем.

Йора не знала, что сказать. Она не верила в память, как не верила в весенний дождь, который смывает следы смерти с троп. Но в тот миг в ней зазвучала жалость – к нему или к себе самой, она не знала.

Йора бы не стала больше думать об этом человеке, если бы не один странный случай: когда во второй лунный месяц после его прихода деревенский мальчишка по имени Варун вдруг проснулся без памяти о собственной матери. Ребёнок не узнал ни её лица, ни голоса, ни ласки, и даже запаха её фартука не вспомнил. По деревне сразу поползли шепотки, будто то был знак: с приходом чужака начали исчезать обыденные вещи, а слова старших становились короче, будто часть фраз попросту выпала из мира.

Шли недели, и всё чаще в деревенских домах забывались утренние обряды, терялись молитвы, стирались с памяти любимые стихи и даже рецепты хлеба. Казалось, будто сама земля сжимается, пряча от людей смысл, привычный с детства.

Адам работал наравне со всеми. Он носил воду, чинил заборы, помогал старым вдовам с похоронами, а потом долго сидел у пруда, где вода была чёрной даже днём. Йора заметила, что он редко спит: ночью из его окон тянулся тусклый свет, а на рассвете он шёл в заброшенную часовню. Иногда, если подойти к ней близко, можно было услышать, как он бормочет себе под нос какие-то строки – то ли проклятья, то ли обеты.

– Всё ищешь её? – спросила Йора как-то раз, пряча в рукаве маленькую восковую свечу, которой хотела осветить себе путь по их промёрзшему селу.

– Я ищу слово, которым можно было бы вытащить мёртвое из воды, – ответил он.

– Зачем?

– Если никто не помнит, значит, она умерла дважды.

И тогда Йора почувствовала: в нём есть не только боль, но и нечто похожее на вызов самой тьме, будто он борется не за покой, а за память как за единственное, что не подвластно смерти.

Иногда к Адаму приходили дети, те, кто ещё помнил себя, или уже начинал забывать. Он учил их странным играм: рисовать круги, прятать камешки в трещинах старых стен, складывать из нитей имена, которые никто не должен был произносить вслух. Йора впервые увидела, что мальчик-сирота с больной ногой вдруг начал смеяться, будто в игре, предложенной чужаком, было что-то, возвращавшее ему кусочек утра, которого никто не видел.

Однажды весной Адам собрал людей у старой часовни. Было промозгло и тихо, те самые дни, когда снег ещё лежит в канаве, но трава уже прорастает сквозь грязь. Он вышел к ним, не как проповедник, не как старейшина, а как гость на похоронах собственной жизни.

– Вы боитесь забыть друг друга, – сказал он. – Но ещё больше боитесь помнить.

Его слушали с насторожённой тоской. Он говорил медленно, глухо, будто каждое слово давалось ему через силу.

– Когда-то у меня была жена, – он посмотрел вдаль, за дымом, за толпой. – Она была светом в доме, который никогда не гаснет. Я хотел построить для неё храм, в котором её имя никогда не исчезнет из памяти, даже если весь остальной мир обратится в прах.

Йора заметила, как у его рта дёрнулась жилка, так бывает, когда человек сдерживает слёзы.

– Но язык, на котором я мог её назвать, исчез, – прошептал он. – Его больше нет ни на бумаге, ни в устах, ни в молитвах.

– А храм? – спросил кто-то из толпы. – Ты всё ещё хочешь строить?

– Я должен. Потому что если не останется ни одного слова, она исчезнет совсем.

После этого Адам стал строить. Сначала маленькую часовню, где никто не молился. Потом высокую стену вокруг неё, выкладывая камни, будто собирает снопы на чужом поле. Люди сторонились, но не мешали, они уже привыкли к его странностям, к его обрядам, к его тишине, в которой появлялись такие слова, которых не знала их земля.

Йора тайком наблюдала, как он работает ночью: таскает тяжёлые булыжники, вырезает из них странные символы, расставляет по углам странные глиняные кувшины с белыми зёрнами, которых никто не пробовал. Иногда она видела, как он разговаривает сам с собой, иногда с кем-то невидимым, глядя в темноту, откуда приходит только холод.

К вечеру он возвращался домой и садился над своими свитками, гладил их, будто это были детские лица, и шептал им чужие имена. С каждым днём в его походке становилось всё больше тяжести, а в глазах всё больше прозрачности, как будто через них можно было увидеть снег, тающий под солнцем, которого нет.

Прошло несколько лет, или, может быть, больше, чем жизнь человеческая способна вместить. Время стало тянуться не в одну сторону, а петлять, возвращаясь к самому себе, как по кругу старой колыбели, скрипевшей по ночам у каждой избы. То лето казалось длиннее зимы, а зима – короче памяти о прошлом. Порой старики спорили, в каком году родился кто-то из их детей, и не могли решить: то ли в тот год, когда вода из колодцев стала горькой, то ли в ту осень, когда первые слова покинули их дома.

Всё это время Адам продолжал строить. Сначала маленькую часовню, потом крепкие стены вокруг неё, потом башню, уходящую в небо выше даже самой смелой надежды. Но главное, чего никто не понимал, – под каждым новым слоем камня он закладывал записки, щепки, тряпочки, в которые заворачивал не только старые молитвы, но и кусочки своей собственной жизни: обрывки волос, обрезки ногтей, шелуху от луковиц, которые очищал для чужих ужинов. Всё, что имело хоть какой-то след запаха, прикосновения, памяти, становилось частью фундамента.

Но главный его труд начался не наверху, а внизу. Он вырыл под храмом глубокий ход, где даже воздух не дрожал от чужих дыханий. Там, среди мха и глины, он выложил первые своды Крипты: камень к камню, след к следу, имя к имени. Не было света, только тусклый блеск свечи, которую он зажигал для себя самого, будто боялся навсегда раствориться в тьме.

Когда Крипта стала достаточно просторной, чтобы вместить сразу троих, он принёс туда свой ларец. В ларце хранилось всё, что осталось от той, чьё имя он так и не смог забыть: локон волос, обломок кольца, выцветший кусочек шёлка, который когда-то был частью её платья. Свитки с её почерком, где ни одного слова нельзя было прочитать, потому что чернила истлели, но когда он касался бумаги, ему казалось, что буквы всё равно оживают, едва заметно мерцают.

Каждую ночь он спускался в Крипту, опускался на колени перед камнем и шептал слова, которых больше не знал никто. Иногда он чувствовал, как от стен откликается тонкая вибрация, не эхо, а словно скупое дыхание того, что затаилось где-то между мирами.

– Ты всё ещё ждёшь её возвращения? – спросила однажды Йора, заглянув к нему, когда с неба текли чёрные дожди.

– Я жду, что память о ней не погибнет, – ответил он не сразу, и на его лице отразился страх, который нельзя было спутать ни с одним земным чувством.

Йора не была верующей, но в тот миг ей показалось: если бы на свете и была хоть одна молитва, достойная быть услышанной, – это была бы молитва о том, чтобы никто не забыл своё имя.

В деревне же тем временем стали происходить странные вещи. Дети забывали дни недели, а потом собственные имена. У стариков исчезали воспоминания о юности, а потом и о старости. Женщины переставали узнавать голоса своих младенцев, мужчины – руки своих жён. Люди теряли названия трав, птиц, камней, переставали петь колыбельные. И чем больше Крипта разрасталась, чем глубже уходила под землю, тем тусклее становился свет в каждом доме, тем реже звучали слова благодарности и прощения.

Адам это видел, и всё равно продолжал. Словно за каждым его действием стояла не только воля, но и неотвратимость судьбы. Йора замечала: теперь и он сам начинал забывать. Его лицо становилось всё более прозрачным, в голосе звучала бесцветная тоска. Иногда, проснувшись ночью, она слышала, как он бродит по деревне, едва касаясь ногами земли, шепча что-то беззвучно, так, будто молится не о спасении, а о том, чтобы боль не утихала.

Вскоре исчез язык, на котором он говорил с возлюбленной. Йора поймала себя на том, что не может вспомнить его звучание – ни одной буквы, ни одного интонационного рисунка, только тёплый след, как от ладони на воде. Все свитки, которые Адам приносил из ларца, постепенно стали белыми, а потом рассыпались в прах. Он уже не пытался их читать, только гладил пальцами по пустым листам, как по лбу ребёнка, которого больше нет.

Однажды ночью Йора увидела его возле пруда. В руках у него был ларец, теперь уже опустевший, в котором оставался только прах и шёлк, ставший с годами почти прозрачным, как паутина.

– Ты всё ещё надеешься? – спросила она с дрожью, не узнавая собственного голоса.

– Я надеюсь только на память, – глухо ответил он. – Когда ничего не остаётся, кроме боли, – боль становится именем.

В тот год деревня перестала отмечать весну. Снег больше не таял, вода стала мутной и горькой, а в воздухе висел запах давнего пожара. Люди замыкались в своих домах, зашивали окна и двери, словно прятались не от зимы, а от самого времени, которое отныне несло не обновление, а забывание.

Весна окончательно исчезла из жизни деревни. С тех пор, как не стало языка, на котором можно было бы просить прощения или звать к ужину, люди стали жить в тишине, заполняя её шумом: стуком дверей, скрипом снега под ногами, неразборчивым гулом, в котором невозможно было различить ни одного имени. В этих домах забывали даже боль, заменяя её усталостью.

Адам почти перестал появляться на улице. Он исчез в монастыре, в камне и пыли, в трещинах, по которым иногда текла вода, то ли дождевая, то ли слёзы той, о которой никто не помнил. Йора всё реже видела его: порой ей казалось, что он стал частью стены, иногда – что он растворился в сумерках. Но иногда, когда над деревней сгущалась особенно плотная ночь, она слышала, как из-под земли доносится его голос: не слово, не крик, а тягучий стон, не похожий ни на молитву, ни на ругательство.

В ту ночь, когда на небе не было ни луны, ни звёзд, а воздух был тяжёл, как мёртвая вода, Адам вновь оказался у входа в Крипту. Йора шла за ним, не чувствуя ног, она не помнила, как

выбралась из дома, как прошла мимо сонных собак, как ступила на глиняный склон, ведущий вниз. Всё вокруг будто стёрлось, осталось только ощущение необходимости, как в преддверии родов или смерти.

У входа в Крипту стояла Меа.

Она не была женщиной, как думали старухи, не была ни тенью, ни туманом, ни зверем, она была всем этим сразу и ничем. Её волосы текли, как вода по камню, лицо было гладким, как зеркало, на котором отразилось всё, что было забыто в этой земле. Когда Йора попыталась посмотреть ей в глаза, она увидела в них сотни лиц, и ни одно не принадлежало человеку, которого она могла бы назвать.

Меа говорила не устами, а самой водой, проникая в каждую клетку, в каждый нерв, в самую суть земли, где уже не звучало ни одной молитвы.

– Ты пришёл, – сказала она. В её голосе была и скорбь, и торжество.

– Я пришёл, чтобы просить, – ответил Адам.

– Но что ты хочешь получить – память или прощение?

– Я хочу, чтобы её имя не исчезло из мира.

– За это тебе придётся платить. За каждую память, что я сохраню, ты отдашь свою плоть, свою боль и своё слово. Ты больше не сможешь умереть, пока хоть кто-то будет помнить твой обет.

Адам не дрогнул. Он смотрел в её зеркальные глаза так, как смотрят только те, кто потерял всё, кроме любви.

– Пусть будет так.

В этот миг Крипта задрожала, как от подземного толчка, по стенам монастыря пробежали новые трещины, из которых заструилась вода, густая, как молоко. Из этой воды рождались слова – тихие, шепчущие, незнакомые, но странно родные. Они складывались в имена, в обеты, в новые заклинания, которые никто больше не мог запомнить.

Меа провела рукой по воздуху, и тот стал тяжёлым, как покрывало над покойником. Она наклонилась к Адаму, и его тело начало меняться: волосы поседели, кожа покрылась письменами – голубыми, синими, чёрными, как пятна на теле утопленника. Лицо его стало прозрачным, в нём проступили черты всех женщин, которых когда-либо любили и забыли в этой деревне. Его глаза потемнели, стали глубокими, как колодец, в который не заглядывает свет.

Йора ощутила, будто в этот миг из её сердца вырвали что-то важное, не чувство, не слово, а саму возможность помнить. Она опустилась на колени, вжалась в холодную землю, почувствовала, как по рукам текут слёзы, а в голове звучит: «Ты будешь помнить его для всех».

Когда Меа исчезла, Адам остался у входа в Крипту, один, но уже не человек. Он стал тем, кого нельзя было назвать, тем, кто хранил все имена и все боли, когда остальные забыли даже свои.

Деревня после той ночи изменилась навсегда. Люди перестали петь, дети перестали смеяться, женщины забыли, как утешать мужей. Монастырь стал пустым, только тени мелькали в его коридорах, и никто не решался войти в Крипту. По ночам по стенам текли ручьи, в которых отражались лица тех, кто больше не был живым.

Йора стала стареть быстрее. С каждым днём она чувствовала, как ускользают из неё слова, как всё труднее даётся даже простое воспоминание о том, кто она и зачем живёт. Она боялась только одного: забыть о том, ради чего Адам остался жить, о ней, чьё имя он шептал в темноте.

И вот, в самую долгую ночь года, когда деревню обволокла чёрная тишина, в одном из домов родилась девочка. Роды были трудными: женщина умерла на рассвете, отец исчез, а младенец появился на свет без крика, молчаливый, с открытыми, немигающими глазами. Йора держала её на руках и вдруг почувствовала, что на свете больше нет ни страха, ни радости, только тяжесть и знание: всё начинается снова.

Девочку завернули в старую ризу из монастыря, и Йора не смогла дать ей имени. В голове было пусто. Она только прижала ребёнка к груди и, еле слышно, прошептала:

– Ты... тридцать восьмая.

Там, глубоко под землёй, в Крипте, Адам поднял голову и прошептал во тьму не имя, а обет:

– Пока я помню, ты не исчезнешь.

В этот миг над деревней пронёсся тихий ветер – не дождь, не снег, а дыхание того, кто будет ждать её новую жизнь до самого конца.

## Глава 1. Деревня, в которой не говорят имён

В этой деревне даже воздух был тяжелее, чем в других местах: он двигался лениво, неохотно, словно и сам боялся пробуждать звуки. В нём всегда стояла примесь пара и старого дыма, а запах сырости смешивался с чем-то неуловимо сладким, будто в чёрной земле тлели невидимые зёрна мёда. Тут уже давно никто не ждал рассвета: последние солнечные тени исчезли с земли триста девяносто девять дней назад, так говорили старики, ещё умевшие считать время по боли в суставах и снам о былом.

Часы в домах были старые, деревянные, с лунными циферблатами и стрелками из обугленного железа. Но и они не шли вперёд: всякий вечер, когда одна из женщин заводила пружину, стрелка, вместо того чтобы двигаться к утру, начинала ползти назад, иногда медленно, иногда рывками, как будто сопротивлялась собственной судьбе. В детстве девочка любила наблюдать за этим парадоксом, пряталась в углу и считала обороты в обратную сторону, как если бы отмеряла не время до рассвета, а шаги к следующей ночи.

Её утро начиналось всегда одинаково: в доме было темно, лампы с синими абажурами едва прогоняли густые тени на потолке, а запах свечного парафина и чуть пригорелого хлеба смешивался с дыханием Йоры, той, кто была ей и матерью, и судьёй, и последней хранительницей забытых снов.

Девочка просыпалась не от звука, а от движения воздуха, в этом доме даже шаги старались не шуметь. Йора уже была на ногах, шаркая босыми ступнями по дощатому полу, разводя в печи слабый огонь, будто пыталась разбудить камень, а не тепло. На столе лежала миска с водой, всегда свежей, прозрачной, с отблеском холодного света у самого дна. Это был не утренний ритуал умывания, а древний обряд: в деревне верили, что пока ты смотришь на воду – тебя ещё можно вспомнить, а значит, ты не исчезнешь.

Девочка тянулась к миске обеими руками, цепляясь за гладкость эмалированной поверхности, и смотрела в своё отражение. Оно было как всегда: чёрные волосы, скулы, тонкая шея, тёмные глаза. Но иногда ей казалось: отражение моргает не в такт ей самой, и тогда сердце сжималось, будто за стеной кто-то подглядывал за ней сквозь тонкую плёнку другого мира.

В эти минуты Йора бросала взгляд из-под бровей, как будто замечала, что за водой прячется нечто, чего нельзя назвать вслух.

– Не задерживай взгляд, – глухо напоминала она, убирая миску. – Вода быстро забывает.

Затем следовал обряд утреннего света – самый странный из всех. В доме не было окон, и стены были закопчены, как кожа старой ведьмы. Каждое утро Йора ставила на стол семь ламп: в три ряда, по неписаному закону. Лампы были разные: одна – с синей слюдой, другая – медная, третья – зелёное стекло, другие из обожжённой глины с резными узорами. Перед тем, как зажечь фитиль, Йора проводила пальцами по стеклу, шепча короткие слова на языке, которого девочка не знала, но от которых всегда веяло тревогой.

Когда все лампы начинали светиться, в доме становилось чуть теплее, не из-за света, а из-за ритуала, который разгонял тьму только внутри. Йора стучала по столу пальцами, отбивая ритм, похожий на сердцебиение, и девочка знала: пока этот ритм звучит, никто не исчезнет.

Потом они ели – скудно, молча, по установленному порядку: хлеб, сваренный на воде из последнего колодца, кусок солёной рыбы, луковая похлёбка. Еду полагалось жевать медленно, без разговоров. Если кто-то заговаривал, Йора поднимала бровь, и тишина возвращалась в комнату быстрее, чем тень от огня.

Девочка знала: в других деревнях люди просыпаются с песней, или хотя бы с молитвой, здесь же каждое утро было как отблеск чёрного льда, гладкий и холодный.

Когда заканчивался завтрак, начинался новый ритуал – «проверка ламп». Каждый ребёнок должен был обойти свой дом и убедиться, что все лампы горят, что ни одна не погасла. Если же какая-то лампа тускнела – надо было сразу поставить перед ней блюдце с молоком, иначе, говорили, её свет унесёт в себя чьё-то имя.

Иногда девочка задерживалась возле двери, слушая, как снаружи раздаются слабые шаги: это соседи тоже проверяли свои лампы, стучали по окнам и кричали глухие имена, которые никто не должен был слышать.

Затем наступало время выхода во двор. Деревня просыпалась неохотно, сдержанно: люди выходили из домов понемногу, словно опасаясь потревожить тьму, которая обволакивала их со всех сторон. На улицах было мало шума: изредка плакал ребёнок, глухо ругались мужчины, гремела калитка у старой пекарни. Всё движение в этой деревне напоминало ритуал, где любое слово – риск, а любой звук может стать заклятьем.

У каждого дома висели часы, но все знали, что они не показывают настоящее время. Стрелки шли назад, и девочка иногда играла: выходила на улицу и считала – одиннадцать, десять, девять... Она представляла, что если часы пойдут дальше, всё станет как было, может быть, вернётся солнце, вернутся цвета, вернутся даже те, кто когда-то исчез.

Время здесь не шло, а возвращалось: всё, что происходило днём, повторялось в другой последовательности ночью, и каждое событие оставляло после себя только ощущение дежавю, будто бы она уже жила этот день раньше, только в другом облике, с другим лицом. Иногда ей снилось, что она идёт по деревне босиком, и на неё смотрят десятки её собственных отражений – с поверхности луж, из окон, из медных чаш на кухне. И все они молчат, моргают не в такт, как будто ждут, что она первая назовёт своё имя.

В тот день, возвращаясь домой, она задержалась у старого колодца. Здесь было сыро и холодно, по стенам текла вода, а во рту чувствовался привкус металла. Она склонилась над синим ведром, глянула в глубину, и на мгновение увидела в воде своё отражение. Только оно не смотрело на неё, а моргало вбок, словно кто-то внизу сделал неправильное движение.

Девочка резко отпрянула, но отражение не исчезло. Оно моргнуло второй раз, а потом медленно улыбнулось – не её улыбкой, а чужой, медленной, осторожной, как у зверя, почуявшего приманку. На мгновение ей показалось, что из воды тянется тонкая рука, но она моргнула, и всё исчезло: только чёрная вода и она сама, дрожащая, с тенью на лице.

С тех пор каждый раз, когда она смотрела в воду, она чувствовала – за отражением кто-то наблюдает, кто-то ждёт. Иногда по ночам ей снились голоса, тихие, как шёпот родников:

«Смотри недолго. Вода быстро забывает».

Ночью девочка долго лежала без сна. За стеной потрескивал огонь, в сених хлюпала вода в ведре, с улицы доносился глухой вой – то ли собаки, то ли ветра, то ли что-то третье, чему не давали имени. В темноте казалось: дом живёт собственной, не похожей на человеческую жизнью. Он дышит, тихо, сдержанно, прерывисто, словно в ожидании того момента, когда кто-то попробует назвать себя вслух.

В углу кровати лежала её старая тряпичная кукла, без лица, только с белой тряпичкой вместо головы. Йора когда-то сказала, что нельзя давать кукле имя: если дать, кукла начнёт жить, а тогда уже неизвестно, кто кого будет помнить.

Девочка долго смотрела на куклу, потом на свои руки – тонкие, с царапинами от утренних дров, с чёрными лунками ногтей. Она думала: если бы у неё было имя, она бы написала его на ладони, чтобы просыпаться каждое утро с ним, чтобы не забывать себя. Но писать нечем и некуда, да и какой в этом смысл, если слово исчезнет быстрее, чем высохнет кровь из пореза.

Из окна на неё смотрела ночь – вязкая, плотная, в ней будто бы шевелились огромные медленные тени. Девочка закрыла глаза и услышала внутри себя что-то похожее на шёпот: «Имя – это не спасение. Имя – это боль».

Утро наступило незаметно. В этой деревне не бывает настоящего утра, только смена одной тьмы на другую, чуть менее плотную. Лампы на кухне мигали, фитили чадили, в воздухе стоял привкус масла и гари. Йора уже готовила похлёбку, бросая в воду луковицу и щепоть соли, те самые «утренние обряды света», которые не приносят света.

Девочка молча помогала: тёрла хлеб, накрывала стол, расставляла чашки из чернёной глины. На стене тикали часы, неумолимо, упрямо двигаясь назад. Она пыталась представить, как было бы, если бы стрелки вдруг пошли вперёд – не к ночи, а к утру, к рассвету, о котором все только и говорили, но которого никто не видел.

После завтрака она, как всегда, обошла дом, проверяя лампы. Одна, у двери, потухла. Девочка налила в блюдо немного молока, поставила перед фитилём и дождалась, пока огонёк зашипит и вспыхнет вновь. В этот миг ей почудилось, будто за её спиной кто-то стоит, но, обернувшись, она увидела только длинную тень на стене.

На улице пахло промёрзшей землёй, старым хлебом и чуть-чуть гарью. Деревня была полна тишины, но в этой тишине было не спокойствие, а тревога: будто кто-то только что прошёл, оставив за собой следы, которые исчезнут раньше, чем их заметят.

Дети уже ждали у пруда, где под водой не было видно ни неба, ни звёзд, ни лиц. Сегодня играли в молчаливые круги: каждый должен был кинуть камень, чтобы круги на воде не пересеклись с чужими. Если пересеклись, тот, чья волна слабее, должен был закрыть глаза и посчитать до ста про себя.

Девочка бросила свой камешек, аккуратно, ровно по центру, чтобы круги были гладкими. Она смотрела, как по воде ползут отражения – лунные, призрачные, неуловимые. Она снова увидела себя, не одну, а сразу три: одна моргала, вторая улыбалась, третья смотрела прямо в глаза, и вдруг все исчезли. Ей стало страшно, будто сейчас кто-то протянет руку из-под воды.

– Ты кого увидела? – жестом спросила соседская девочка.

Девочка развела руками:

– Не знаю.

– Может, это Меа?

Имя Меа шептали в деревне редко. Говорили, что это тень из воды, что она пьёт чужие отражения, а если долго смотреть на воду – забудешь, кто ты. Девочка знала: так пугали детей, чтобы они не ходили к пруду ночью. Но она чувствовала, в этих историях есть что-то ещё, что-то тревожное, что-то важное для неё самой.

Вечером, когда они с Йорой вернулись домой, девочка снова увидела своё отражение в миске с водой. На этот раз оно моргнуло не так, как она сама, и во взгляде промелькнуло что-то совсем чужое, холодное. Девочка быстро отвернулась, но в душе остался осадок, как если бы кто-то встал у порога и не захотел уходить.

Йора заметила её тревогу, но ничего не сказала. Только вечером, когда они ужинали при тусклом свете, женщина вдруг положила руку на плечо девочки и тихо спросила:

– Ты помнишь что-нибудь хорошее?

Девочка замялась, вспомнила улыбку, солнечный луч на стене, которого не было, и вдруг – ту самую куклу без лица.

– Я помню только тени, – прошептала она.

Йора медленно кивнула.

– Может, это и хорошо.

Ночью девочка снова не могла уснуть. Ей казалось, что дом дышит ещё тише, что стены дрожат от чужих шагов, что за окном ходит ветер, который знает её имя, хотя она его и не знает. Она накрылась с головой одеялом, но даже там ей чудился чей-то взгляд.

В эту ночь ей снилось, будто она идёт по улице, а у каждого дома вместо таблички висит зеркало. Она подходит ближе, и в каждом зеркале видит своё лицо, но каждое лицо чуть-чуть не похоже на неё. Она хочет крикнуть своё имя, но изо рта вырывается только шёпот:

– Кто я?

В ответ из всех зеркал доносится один и тот же голос:

– Ты – та, кого забывают первой.

В этой деревне ночь всегда начиналась раньше, чем где бы то ни было. Даже если лампы ещё горели, даже если у соседей за стенкой до сих пор шуршал веник или скрипел табурет, даже если где-то вдалеке, на самой окраине, плакал младенец или лаяла собака, всё равно каждый чувствовал: тьма уже разлилась под порогом, вползла под ногти, притаилась в складках одежды. С наступлением вечера даже самые смелые становились медленнее, и голоса, если и звучали, то только в шёпоте, словно каждый боялся растревожить невидимую чешую, покрывающую стены и окна.

Девочка сидела у окна, поджав под себя босые ноги, и смотрела в глубину комнаты, где в тени чуть светились стеклянные лампы. В детстве ей казалось, что в этих лампах живёт что-то живое, потому что пламя внутри всегда дрожало так, будто кто-то едва заметно касался стекла изнутри. Йора сидела рядом, шила длинную тёмную рубаху, которая была безразмерной и предназначалась «на вырост», хотя в деревне все знали, что в этих домах никто не вырастает по-настоящему, только взрослеет без радости, с потяжелевшими руками и глазами, в которых отражается только тьма.

Иногда девочка прислушивалась к себе и не могла понять, идёт ли время или просто повторяет само себя, как круги на воде, если бросить туда камешек. Она замечала: утром и вечером в доме пахнет одинаково – старой древесиной, квашеной капустой, чуть пригоревшей коркой хлеба и ещё чем-то неуловимо острым, похожим на озон после грозы, которого здесь никогда не было. Всё здесь было похоже на сон, от которого не пробуждаешься: не потому, что не хочешь, а потому, что некому разбудить.

После ужина, молчаливого, как и всё остальное, девочка умывалась у миски с водой, и каждый раз видела в отражении не себя сегодняшнюю, а ту, что была вчера, или вообще кого-то совсем другого, чьё лицо как будто напоминало её собственное, но жило своей жизнью, моргало, улыбалось или смотрело в сторону. Было в этом что-то тревожное, но не ужасное, скорее, холодное, как прикосновение к снегу, которого никогда не было в этой деревне.

Время от времени Йора клала руку девочке на плечо, будто проверяя: жива ли она, не стала ли прозрачной, не уткнула ли вместе с умывальной водой в щели между половицами. Иногда, если у девочки дрожали пальцы, Йора шептала: «Всё будет хорошо. Молчи, и всё будет хорошо». Девочка не верила, слишком много уже слышала таких утешений. Она знала, что за этой заботой прячется страх, и этот страх гораздо древнее любого имени.

Чем дольше длилась ночь, тем больше казалось, что деревня сжимается: дома становятся ближе друг к другу, дворы – уже, тени – длиннее. Иногда во дворе шуршал кто-то чужой: лисица, кошка или, может быть, сама тьма, пришедшая посмотреть, все ли лампы горят. Тогда девочка забиралась с ногами на лавку и смотрела в окно до тех пор, пока не начинали болеть глаза.

В такую ночь трудно не думать о словах. Девочка часто пыталась представить себе, как бы звучало её имя, если бы у неё оно было. Она вспоминала, как старики зовут друг друга: у кого-то имя звучит хрипло, словно выкашливается вместе с дымом из печки, у кого-то почти ласково, как будто гладят по волосам. Она пробовала шептать себе под нос случайные слоги, но каждый раз язык путался, а на губах оставался вкус золы.

Ближе к полуночи Йора клала на стол старую книгу – большую, тяжёлую, с замком на обложке, который никогда не открывался. Это была семейная реликвия, и каждый вечер её вынимали из сундука, чтобы напомнить: даже если слова исчезли, книга должна оставаться на виду, иначе в доме поселится что-то такое, что никто не сможет выгнать.

Однажды, когда девочка совсем устала от бессонницы, она решила спросить:

– Йора, почему мы не открываем книгу?

Йора посмотрела на неё с каким-то упрямым испугом и ответила:

– В этой книге нет слов. Открыть – значит забыть, что когда-то они были.

– Но зачем тогда хранить её?

– Чтобы помнить, что когда-то мы могли говорить.

После этого разговора девочка несколько дней не могла спокойно смотреть на книгу: ей казалось, что внутри неё всё-таки есть нечто живое, что однажды вырвется наружу и заговорит её голосом.

Однажды на рассвете, если можно так назвать ту неразличимую границу между двумя одинаково тёмными ночами, в деревне начался новый ритуал. Старики сказали, что сегодня будет праздник света, хотя никто уже не помнил, какой именно и зачем он нужен. По дворам ходили женщины с охапками старых тряпок, обматывали ими фонари и лампы, чтобы их огонь не ушёл в чужие руки. Мужчины вытаскивали из сараев сломанные колёса, доски, куски ржавого железа и строили на главной площади костёр, который никто не зажигал, его нужно было просто обойти семь раз молча, держа в руках свою самую старую вещь.

Девочка шла в этой веренице, сжимая в руке ту самую куклу без лица. Её пальцы мёрзли, а сердце билось чаще обычного: было ощущение, что сейчас что-то случится, что кто-то назовет её по имени, и тогда всё изменится. Но никто не называл. Даже когда дети сбились в кружок и начали водить хоровод вокруг костра, их губы оставались сжатыми, а глаза – усталыми.

После праздника все разошлись по домам, и только в воздухе ещё долго висел слабый запах пепла и старого хлеба. Девочка стояла у окна, смотрела, как в черноте растворяются силуэты соседей, и вдруг остро ощутила одиночество, не то, к которому привыкла, а другое, более острое, как если бы кто-то вынул из неё кусок памяти.

В ту ночь ей снова снились зеркала, но теперь в них отражалась не только она, а сразу много других детей, все с одинаковыми лицами, все молчащие, все ждущие, чтобы кто-то назвал их вслух. Она проснулась в слезах, задыхаясь, с ощущением, что если не назовет себя – исчезнет навсегда.

Утром Йора заметила её тревогу и долго молчала, прежде чем вымолвить:

– Если хочешь – придумай себе имя, но никому не говори. Пусть оно будет только твоим.

Девочка долго смотрела в окно, чувствуя, как внутри растёт странное тепло. Она не знала, что сказать, и поэтому промолчала. Но с этого дня в её голове зазвучало слово, которое она никому не открыла, как песчинка между зубами, как тайная боль, как обещание себе самой.

И именно в этот день, когда она впервые назвала себя в мыслях, она почувствовала, что круг забвения чуть треснул, что между слоями тьмы появилась тонкая щель, из которой может пробиться нечто новое.

Но это новое было не светом, а тревогой, и ещё долго в её сердце жила тень, холодная, как вода в колодце, и ждущая своего часа.

Время в деревне, где не говорят имён, тянулось вязко и бесповоротно, как если бы его никто не отсчитывал, а только переживал. Каждый новый день казался отражением предыдущего, только чуть глуше, чуть темнее, чуть холоднее, будто на окна легла невидимая плёнка, и даже свет ламп начал оседать на стекле серым налётом, похожим на пыль веков. Девочка росла, но это было не то взросление, которое отмечают ростом на косяке двери или первой собственной юбкой, а медленное превращение в кого-то, кто никогда не был полностью собой. Она ощущала это всеми фибрами: одежда становилась мала, руки длиннее, голос ниже, но внутри жила прежняя детская тревога, будто тело стало чуть больше для той души, что боится громко дышать.

Мир деревни, погружённый в бесконечную ночь, был устроен просто и жёстко. Старики держали счёт дням по собственным болячкам, определяя смену времён года по сухости кожи, ломоте в костях и стуку капель с обветренных крыш. В домах по-прежнему заводили часы, но никто не пытался сверять по ним настоящие часы жизни: стрелки упрямо шли назад, и

это казалось естественным, будто всё в этом мире должно не двигаться вперёд, а медленно откатываться к той самой точке, где память была ещё полной, где тьма только начиналась, где можно было поверить, что завтра наступит рассвет.

Девочка всё чаще ловила себя на том, что просыпается не от света, а от темноты. Темнота здесь была другой: она жила не только на улице, но и под кожей, в звуках, в лицах, в запахах хлеба и холода, в тусклых лампах, которые трещали по ночам, словно косточки в руках старух. Она иногда удивлялась, как Йора отличает утро от вечера, если разницы почти нет, если даже хлеб по утрам пахнет так же, как вечером, если даже её кукла без лица всегда лежит на одном и том же месте, и даже сны повторяются из ночи в ночь, только лица в них меняются местами.

Вечерние ритуалы становились для неё чем-то сродни игре, не по-настоящему, а чтобы не сойти с ума. Она всё так же ставила перед собой миску с водой, всматривалась в отражение, и теперь уже не искала там собственное лицо, а скорее пыталась разглядеть за ним то самое другое, появляющееся в глубинах, когда никого не было рядом. Иногда ей казалось, что в этом отражении мелькает чей-то взгляд – усталый, взрослый, слишком древний для её возраста, и тогда она нарочно плескала на воду, чтобы разрушить чужую тень.

Йора всё больше молчала, особенно вечерами, когда в доме становилось сыро, как в подвале, а лампы мигали и чадили, не желая разгораться до конца. Иногда она, словно забыв о присутствии дочери, начинала напевать что-то глухое, несложное, но слова сразу расплывались, срывались, будто во рту не хватало языка для песен. В эти моменты девочка чувствовала, что её собственное имя висит в воздухе, как забытая строчка: хочется крикнуть, и нельзя, потому что тут же разорвётся весь этот тонкий покров бытия, под которым живут, чтобы не помнить.

Жизнь деревни застывала, но не в покое, а в ожидании. Всё здесь было пронизано ощущением хрупкости, зыбкости, будто шаг в сторону, и земля под ногами провалится, а ты останешься один, с куклой без лица, в мире, где никто не зовёт тебя по имени. Люди всё реже выходили во двор, только по большим нуждам: проверить лампы, напоить скотину, вынести хлеб соседке, помочь старикам принести воды. Обычаи становились всё более формальными: если раньше дети могли перебежать двор, перекричать друг друга, то теперь играли молча, на расстоянии, и даже в кругу не держались за руки, будто боялись, что чужая кожа отберёт последние воспоминания.

Самой загадочной частью детства девочки была школа молчания. Здесь не учили ничему, кроме тишины. Большая комната, разделённая на секторы тёмными занавесями, пахла старыми досками и свечной гарью. За столами сидели дети, иногда по одному, иногда по двое, и каждому выдавали лист угольной бумаги и белый мелок. Надо было рисовать: не то, что хочется, а то, что запомнил из сна, из вчерашнего дня, из самого себя. У кого-то выходили только круги – большие, тяжёлые, как кольца на воде после дождя. Кто-то рисовал точку на чёрном фоне, кто-то повторял те же самые узоры, что вырезаны на дверях дома. У девочки всё чаще получалось что-то похожее на окно, в котором видна только ночь.

В школе не разговаривали: учительница следила, чтобы ни один звук не сорвался с губ. Она ходила по классу, иногда резко стучала тростью по полу, не чтобы напугать, а чтобы напомнить: каждый звук – это пустота, которая будет расти внутри тебя, если дать ей волю. Если кто-то нечаянно шептал соседу что-то на ухо, его ставили в угол лицом к стене, а потом заставляли весь день рисовать собственное отражение без лица, до тех пор, пока руки не начинали дрожать.

Дети здесь учились не писать, а забывать. Это было странное умение – отбрасывать всё ненужное, не запоминать имен, не запоминать обиды, даже игры. В какой-то момент девочка начала бояться, что однажды забудет всё: как зовут Йору, как пахнет её кукла, как звенят капли воды ночью, когда никто не видит.

Только иногда, когда дети выходили из школы и садились у пруда, тишина становилась особенно плотной. Здесь, на берегу, можно было бросить камешек, и смотреть, как расходятся

круги, пока не исчезнут совсем. Кто-то пытался нарушить правило: заговорить, громко рассмеяться, закричать в пустоту, и всегда после этого кого-то из детей начинали забывать быстрее остальных. Было поверье: если три дня никто не вспомнит твоё лицо – ты исчезаешь, и даже родные не смогут сказать, был ли ты когда-нибудь жив.

Старики тоже жили в этом странном промежутке между помнящим и забывающим. Каждый раз, когда девочка встречала их на улице, всегда ссутулившихся, укутанных в шерстяные накидки, с вечно красными глазами и дрожащими руками, она пыталась спросить: как выглядело солнце? Как пахла трава? Было ли вообще лето, когда земля прогревалась до самого корня? Но каждый старик отвечал по-своему. Один говорил – солнце было чёрным, как дым; другой – синим, как слюда в старой лампе; третий – что оно было белым, как простыня над покойником. Все лгали, и девочка чувствовала это всей кожей: не потому, что хотели лгать, а потому что не могли вспомнить.

И всё же иногда она видела в их глазах отблеск чего-то настоящего, может, страха, может, памяти, может, просто желания не быть последним, кто знает хоть что-то о прошлом. Иногда кто-то из них рисовал палкой на земле круг, в котором застывал маленький треугольник, и говорил: вот так выглядел рассвет, если смотреть на него издали.

Девочка слушала и запоминала, не столько слова, сколько тишину между ними, густую и вязкую, как мёд, оставшийся на дне миски после долгой зимы. Она понимала: всё, что ей досталось, – это возможность помнить чужую забытость.

Время текло дальше, и каждый день был похож на предыдущий ещё больше. Иногда девочка ощущала, что что-то меняется внутри неё: сон становился тревожнее, отражения в воде – чужими, мысли – резче, а желание назвать себя – почти нестерпимым. После одного особенно тяжёлого дня, когда в школе её заставили рисовать свою тень три часа подряд, она пришла домой и вдруг, ни с того ни с сего, спросила у Йоры: почему у меня нет имени?

Йора так резко обернулась, что чуть не уронила миску с хлебом. В глазах её мелькнул испуг – настоящий, не притворный, такой, каким пугаются только за тех, кого любят слишком сильно или слишком давно.

– Не спрашивай, – ответила она тихо, будто кто-то мог услышать. – Имя – это то, что можно потерять. А потеряв, не вернуть.

– Но как же я буду помнить себя, если у меня нет имени? – Девочка впервые сказала это вслух, голосом дрожащим, но решительным.

Йора подошла, обняла её за плечи, прижала к себе, как в детстве, и прошептала на ухо:

– Иногда лучше быть тенью, чем словом. Тень нельзя забыть, потому что она всегда с тобой.

Но девочка знала: если не назвать себя, рано или поздно исчезнешь, даже если никто не забудет тебя по-настоящему.

Ночью ей снова снилось зеркало – большое, мутное, во весь рост, в котором отражалась не она, а кто-то чужой, с её лицом, но с глазами другого цвета. Она протянула к зеркалу руку, но отражение не повторило её жеста, а, наоборот, отступило назад, растворилось в сером мареве и исчезло, оставив в воздухе только звук собственного имени, не услышанный, не произнесённый, но остро желаемый.

С этого утра девочка перестала бояться воды: теперь каждый раз, когда она умывалась, она всматривалась в отражение, и шептала про себя придуманное имя, не раскрывая его никому. Так начался её личный ритуал, маленький и тайный, спрятанный между обыденными делами, между лампами, хлебом, школой молчания и сонными лицами соседей.

И в этот период, когда всё в деревне, казалось, застыло и обрело форму вечной ночи, именно в девочке первой появилась трещина. Она стала слушать себя, мир, тишину, становилась всё чутче к дыханию дома, шагам на улице, даже к тому, как капля воды падает в ночную

миску. Её внутренний голос теперь не был тихим, он звенел в груди, как тонкая струна, которую нельзя было не заметить.

Девочка знала: рано или поздно она нарушит круг молчания. Она чувствовала, как её сердце ищет выход – слово, жест, крик, любое подтверждение своего существования. Но пока она ждала, как ждёт первая тень на рассвете, когда ещё никто не верит, что день когда-нибудь вернётся.

Её одиночество стало первой трещиной в круге забвения. В эту трещину начала медленно просачиваться память, не светлая и не спасительная, а горькая, тягучая, настойчивая, как сама жизнь в этой деревне, где никто не говорил имён, но каждый втайне жаждал быть названным хоть раз вслух, по-настоящему, навсегда.

Всё больше дней тянулось друг за другом, неотличимых по свету, по запахам, по тусклому быту и повторяющимся ритуалам. В мире, где никто не говорил имён, девочка начинала видеть, как сквозь невидимые трещины проступают и другие перемены, малозаметные, тревожные, но неотвратимые. Дети в деревне, кажется, всё реже появлялись на улице вместе. Кто-то начал исчезать: сначала Варун – мальчик, у которого было самое звонкое молчание; потом девочка Лиса, волосы которой всегда пахли дымом, а взгляд был таким внимательным, что порой казалось, будто она слышит не только тишину, но и каждый страх, прячущийся в углах. О них не спрашивали и не вспоминали: каждый знал, что, если начать искать – сам станешь следующей тенью.

Девочка, как будто взрослея в обратную сторону, всё чаще возвращалась к тем самым местам, где ещё недавно они вместе бросали камешки в пруд или рисовали круги на мокром песке. Теперь вода стала мутнее, холоднее, глубже, и в каждом отражении рябило, как будто в нём поселилось чужое дыхание. Иногда ей казалось, что вот-вот из-под зеркальной плёнки выплывет чья-то рука, и тогда она старалась не задерживать взгляд на поверхности слишком долго, вспоминая наказ Йоры – не смотри в воду дольше семи вдохов.

Ритуалы утра и вечера обрели почти механический смысл. Лампы вычищались до скрипа, хлеб резался тоньше, молоко уносилось к потухшей лампе. В доме царила густая тень: даже когда за окном будто бы занимался рассвет, в углах жили свои, отдельные ночи. Девочка чувствовала: именно в этих тенях зреет неведомое, то, что когда-нибудь вырвется наружу, если дать ему имя или хотя бы крик.

В школе молчания стало строже, чем когда-либо. Теперь на каждом уроке детей ставили лицом к стене – рисовать собственную спину, чтобы не видеть друг друга, не искать подтверждения своему существованию во взгляде одноклассника. Девочка поняла: если никто не видит твоего лица, никто не сможет и вспомнить его, и исчезновение становится делом лишь времени.

Старики всё чаще забывали дорогу домой: Марука нашли на краю болота, он пытался поймать солнце в тростнике, уверяя, что увидел в воде синий круг. Климия целыми днями сидела у окна, перелистывая в руках пустые страницы старой книги, и каждый раз находя там новые пятна, как если бы на бумагу проступала чья-то забытая история. Вереть, у которой когда-то был самый звонкий голос в деревне, теперь едва слышно шептала себе под нос: «Имя – это боль. Имя – это камень». Но никто не слушал её, и слова растворялись, как пар.

Вечером, когда девочка вернулась домой, Йора, уже не старая, а почти прозрачная от усталости, сидела у стола, перебирая сухие тряпки и тёртые платки. Она не спросила, как прошёл день, в этой деревне не было принято интересоваться прошлым. Девочка, не дождавшись разрешения, села на пол и принялась заштопывать свою старую рубаху. Лицо Йоры было сосредоточенным, но где-то в глазах пряталась тень страха – страх за то, что нельзя удержать: ни ребёнка, ни имя, ни саму себя.

– Йора, – вдруг спросила девочка, – если бы ты могла выбрать любое имя для себя, какое бы взяла?

Йора подняла голову, посмотрела на неё долго и тяжело, так, будто разглядывала в ней чужую, не свою дочь.

– Мне не нужно имя, – прошептала она наконец. – Имя делают для других, не для себя.

– А если никто не зовёт тебя, ты исчезнешь?

Йора отвела взгляд и, будто не желая продолжать, ушла в тень, оставив девочку одну, с вопросом, который стал уже не просто детским упрямством, а самой сутью её существования.

Этой ночью девочка не спала. Она лежала под тёплым, немного сыроватым одеялом и считала вдохи – раз, два, три... и смотрела, как на стене пляшет тень от лампы, и представляла себе, как могло бы звучать её имя. Но каждое новое слово таяло на губах быстрее, чем возникало. Наконец она вымолвила, беззвучно, только для себя, простое, чуждое этому миру имя. Оно показалось ей сначала чужим, потом вдруг очень близким, как боль от ушиба, которую помнишь дольше, чем причину самой раны.

С этим именем на губах она уснула и в первый раз за много недель не видела ни воды, ни зеркал, ни чужих лиц, только круг света в темноте и ощущение, будто где-то очень далеко кто-то всё-таки помнит её наяву.

В последующие дни девочка словно вышла за грань невидимого круга: всё вокруг стало слышнее, запахи – острее, каждый шорох, каждый вздох, даже скрип пола под ногами Йоры казался ей призывом вспомнить, что значит быть живой, что значит быть собой. Она вновь стала наблюдать за детьми, но теперь уже со стороны, как наблюдают за тенями в густом лесу: с опаской, с нежностью и с тоской по тому, что когда-то было обычным детством.

Иногда она встречала глазами свою тень в миске с водой, и впервые позволяла себе улыбаться в ответ. Пусть даже это отражение не повторяет её жестов, пусть даже оно моргает в другой ритм, теперь она знала: пока у неё есть имя внутри, никто не сможет лишить её самой себя.

Так девочка прошла свой первый круг – от страха забывания к отчаянной, упрямой памяти. Она не делилась этим с Йорой, не делилась ни с кем из стариков или детей: её память стала её тайным садом, где каждое слово, каждая мысль, каждая трещина – это семя, которому суждено когда-нибудь дать росток.

## Глава 2. Сайр и кукла с каменным лицом

Детство в деревне, где не говорят имён, не складывается в прямую линию, а петляет, кружит, возвращается к себе через вещи, запахи и голоса, которые нельзя назвать. В памяти девочки этот мир не имеет начала: всё начинается с того утра, когда Сайр впервые позвал её играть за кладбищем, туда, где даже старики не ходят после полудня.

Они были ещё совсем маленькими, не выше калитки, и уже не знали своих имён. В этой тьме никто не рождался для себя: все дети появлялись на свет с ощущением, что кто-то другой ждёт их за чертой, что есть условная точка, за которой нельзя быть ни живым, ни мёртвым, ни даже собственным. Сайр всегда тянул девочку за собой, не за руку, а за взгляд: он смотрел исподлобья, из-под лба с короткой чёлкой, в глазах у него стоял отблеск лампы, затушенной полчаса назад. Он был хмурым и быстрым: если не ответишь жестом, если не кивнёшь – обидится и уйдёт к тем, кто слушает молчание.

Однажды, когда все дети ушли из школы молчания раньше времени, – учительница тогда заболела, а её помощник был занят поломкой дверной петли, Сайр подал знак девочке: «пойдём». Они пересекли два заброшенных двора, обогнули старое болото, где когда-то ловили жуков для весенних игр, и оказались возле кладбища. Здесь за низкой стеной начинался иной мир: крошечные кресты, покосившиеся доски, странные плоские камни с вырезанными кругами и ржавыми булавками. Они пробирались между могилами, почти не дыша, пока не дошли до самой большой, над ней был навес из старых ветвей, и именно здесь стоял их первый тайный «дом из костей».

Этот дом не был домом в привычном смысле: стена из черепиц, пол из старых коряг, крыша из чёрного, как ночь, покрывала, найденного в заброшенном сарае. Здесь, в полутьме, девочка впервые почувствовала, как холодно может быть не только коже, но и дыханию – каждый вздох отдавался в голове болью, каждый жест становился законом, каждый взгляд – обетом. Сайр достал из-под земли коробку с косточками: мышинные, птичьи, несколько ржавых ключей и даже зуб какого-то зверя. Они выкладывали ими круги, символы, строили стены и складывали «языки», которых никто не знал. Иногда Сайр пытался издавать короткие, отрывистые звуки, будто повторял чьи-то забытые заклинания.

– Что ты строишь? – шептала девочка, когда ветер шевелил их волосы и под ногтями оставалась сырая земля.

– Свой язык, – отвечал он. – Если мы не скажем его вслух, он не исчезнет.

Девочка вырезала на кусочке коры две параллельные линии, потом третью, наклонённую – это был их личный символ, знак того, что здесь, в доме из костей, можно быть не собой, а кем-то другим, тем, кто не исчезнет утром.

В тот день они придумали игру: кто сумеет придумать больше слов из найденных костей. Сначала были простые – круг, палка, дом, потом всё страннее: девочка выкладывала спираль, Сайр что-то похожее на крыло или старую ключицу. В их игре слова были не звуками, а формами, и в этом было облегчение: никто не накажет, никто не заберёт имя, если его нельзя произнести.

Сквозь годы эти игры возвращались к ним во снах: Сайр всегда шёл впереди, оборачивался, улыбался глазами, полными тьмы, и звал её через безмолвие – жестом, взглядом, изломанным пальцем.

Порой они забирались в старую пещеру, ведущую к монастырю, туда вели только самые смелые дети, и только днём, когда по земле ползли длинные лучи света от ламп. Пещера была выдолблена в соли и извести, по стенам её текла вода, а воздух был густой, как молоко. Сначала их встречала тишина, плотная, вязкая, вязнущая в лёгких. Но потом, если долго смотреть на

стены, начинали проступать странные письмена: не буквы и не символы, а просто борозды, как если бы по камню кто-то долго царапал ногтями, выводя длинные кривые линии.

Они приносили с собой мел, острые палочки, иногда кусочки угля. Писали на стенах свои знаки, иногда руны, иногда спирали, иногда просто отпечатки ладоней. Через некоторое время, возвращаясь на следующий день, они не находили своих следов: письмена исчезали, будто их смывала вода или забирал кто-то другой, кому нужны были эти слова. Но на самом деле всё написанное оставалось, только было видно не всегда, а лишь при особом освещении: если в пещеру попадал лунный луч или когда они зажигали свечу, лежащую на камне в самом углу.

В одной из таких ночей Сайр предложил новую игру: писать знаки друг на друге. Они рисовали палочкой на спинах, на плечах, на запястьях, выводили странные завитки, похожие на рыбий хребет, или острые стрелы, идущие вдоль позвоночника. После этой игры оба долго не могли уснуть, их мучили сны, в которых по коже ползали чьи-то тени, а под ногтями оставался вкус ржавчины. Девочка впервые ощутила: если оставить знак на чьей-то коже, это значит доверить ему своё имя, даже если никто не знает, как оно звучит.

Но самым странным воспоминанием того лета была история с куклой. Куклу девочка сшила сама из лоскутков, которые собирала с малых лет, а лицо вылепил Сайр из кусочка старой глины, найденной за пещерой. Лицо получилось каменным – грубые, нечёткие черты, глубокие тёмные глаза, чуть выпирающие скулы. Кукла была странно тяжёлой, и когда Сайр поставил её у входа в их «дом из костей», ветер больше не проходил внутрь, а дети, если и пытались войти, быстро убежали, не выдерживая взгляда глиняных глаз.

Однажды ночью, когда девочка осталась одна, она решила взять куклу с собой в постель. Лежала в темноте, слушала, как Йора ходит на кухне, и вдруг почувствовала, что кукла становится теплее, будто кто-то внутри начал дышать. Она не испугалась, только крепче прижала игрушку к груди, и во сне ей снилось, что кукла моргает глазами, сначала медленно, потом всё быстрее, а в глазах отражается пламя лампы и тонкая тень самой девочки.

На следующее утро она рассказала обо всём Сайру, но он лишь пожал плечами. Зато вечером, когда он принёс куклу обратно в дом из костей, заметил: глаза куклы будто слегка двигались. Он не говорил об этом вслух, но больше не смотрел ей в лицо, а когда девочка тянулась к игрушке, каждый раз вздрагивал.

Вскоре после этого Сайр начал лепить из глины новую маску, хотел сделать для девочки подарок. Долго работал, смешивал воду с пылью, ладонями выравнивал форму, чертил ногтем линию бровей. Маска вышла странная, не похожая ни на одно человеческое лицо: у неё были слишком глубокие глаза и слишком тонкие губы, а на лбу странный знак – завиток, часто появляющийся в их пещерных играх. Когда маска высохла, он хотел подарить её девочке, но, подойдя к колодезю, услышал из его глубины голос. Голос был старческий и одновременно молодой, как песня ветра на болоте.

– Сайр... – голос звал его настоящим именем, – иди ко мне...

Он замер, почувствовав, как под ногами дрожит земля, а в груди начинает стучать чужое сердце. Голос повторил имя ещё раз, и в этот миг Сайр, не помня себя, поднял маску и с силой бросил её в колодезь. Маска ударилась о камень, разлетелась на куски, а голос стих так внезапно, будто его никогда и не было.

С этого дня в ухе у Сайра застряло странное ощущение, будто кто-то поёт ржавым, скрипучим голосом. Он не говорил об этом никому, даже девочке. Но иногда, когда они вместе сидели в доме из костей, девочка замечала: Сайр чаще трогает ухо, морщит лоб, а если вдруг кто-то из детей случайно зовёт его по имени, Сайр вздрагивает и отходит в сторону.

Всё это было не страхом и не отчаянием, а скорее долгим, вязким прощанием с детством, которое уходит не внезапно, а слоями, как сброшенная змеей кожа или как старый след на болоте, исчезающий с первым дождём. И чем чаще они возвращались к своим ритуалам, чем больше оставляли знаков на коже, чем глубже забирались в пещеру, тем острее чувствовали: за

их играми стоит что-то большее, чем просто скука и страх быть забытым. Было ощущение – их видят, за ними наблюдают, и вся эта жизнь, в которой нет имён, всего лишь круг, замкнутый чьей-то чужой памятью.

Порой девочка просыпалась по ночам от собственного голоса, которым звала не себя и не Сайра, а кого-то третьего, того, кто стоял за стеной, за пещерой, за колодцем, за всем этим миром. Она не знала, кто это, но в её снах этот кто-то всегда был с каменным лицом и ржавым пением в груди.

И в этом было что-то странно утешающее, ведь если тебя зовёт кто-то без имени, значит, ты всё ещё есть.

Прошли недели, а может, и месяцы, не различимые во тьме: дни здесь были похожи друг на друга, как братья, которых рассадили по разным углам дома, чтобы они не ссорились, а только слушали дыхание друг друга сквозь стены. Детство девочки и Сайра протекало под знаком недосказанности, тайных жестов и странной, неразговорной близости, которую можно было почувствовать только в тёмных углах, среди запаха пыли, земли и древней ржавчины.

Их «дом из костей» со временем стал не просто укрытием, а чем-то вроде храма, маленькой вселенной, куда никто не мог войти без их особого согласия. Другие дети уважали этот закон: если занавеска из тряпья висела на дверном проёме, значит, внутри идёт игра, где не место чужим взглядам. Иногда они втроём с Ода или с молчаливым Шеуром устраивали внутри домика ночные посиделки, где каждый приносил с собой что-то найденное на окраине: кусок старой кожи, обломок светлого камня, стеклянную бусину, похожую на глаз рыбы.

Там, в полумраке, под шорох ветра, они рассказывали истории, не словами, а жестами, мимикой, рисунками на полу. Девочка любила придумывать легенды о древних существах: один был сделан целиком из костей воробья, другой носил на голове венец из ламповых фитилей, а третий, самый страшный, мог красть имена, если услышит их во сне. Сайр, выслушав рассказ, вытаскивал свою куклу и ставил на середину круга, будто приглашая всех участвовать в молчаливом ритуале, где слова были опаснее, чем молчание.

– Когда-то, – впервые нарушил он тишину, – я видел, как эта кукла дышит ночью.

Его голос был хриплым, будто кто-то долго держал его за горло, не давая выдохнуть.

Девочка посмотрела на него внимательно, впервые за много дней увидев в его глазах не только усталость, но и настоящий, детский страх.

– Она же не живая, – попыталась возразить она.

– Всё равно... ночью в доме становится очень тихо, но я слышу, как у неё что-то движется внутри.

– Может, этомышь?

– Нет, – покачал он головой. – Она дышит, как мы.

– Тогда давай спросим у неё.

Девочка взяла куклу, повернула лицом к себе. На сером лице с острой, будто чуть открытой линией рта и тяжелыми ввалившимися глазами, были едва заметные царапины, как следы чьих-то ногтей или инструмента, которым Сайр когда-то лепил выражение. Она медленно провела пальцем по губам, потом по щеке, тихо прошептала:

– Если ты дышишь, покажи знак.

На мгновение в хижине стало так тихо, что даже дыхание казалось кошунственным. Сайр сжал кулаки, закрыл глаза, и вдруг заметил, что глаза куклы медленно скользнули влево, едва заметно, но достаточно, чтобы он отпрянул, прижавшись к стене. Он не закричал, только выдохнул шумно и резко.

Девочка этого не заметила. Она смотрела на куклу, ожидая знака, но увидела только свою собственную тень в её глазах.

– Тебе показалось, – сказала она, вернув куклу на место, но на душе остался тягучий, неприятный холодок.

Позже, в пещере, когда они рисовали друг на друге свои тайные письмена, Сайр был молчаливее обычного. Он всегда водил палочкой по руке девочки дольше, чем это было нужно, будто хотел написать что-то большее, чем узор или символ.

– Почему ты всё время молчишь, когда что-то чувствуешь? – наконец спросила она, наблюдая, как на её коже появляется новый знак – спираль, похожая на сломанную пружину.

– Если скажешь вслух, это станет чужим, – ответил он. – Я хочу, чтобы ты носила мой знак так, чтобы никто не мог забрать.

Девочка задумалась, вспоминая, как сама пыталась однажды назвать его имя, не вслух, а шёпотом, на границе между сном и явью. После этого её мучил сон, в котором Сайр стоял у колодца, и из глубины доносился голос, ржавый, будто сорванный с петли старой двери.

– Зови меня только в мыслях, – вдруг сказал он, будто читая её мысли. – Я хочу, чтобы моё имя звучало только в тебе.

С этих пор они почти не говорили друг с другом. Все важные вещи происходили во взгляде, в коротком касании, в том, как Сайр лепил новую глиняную маску, уже не для девочки, а для себя, но с её чертами: острые скулы, глубокие тёмные глаза, тонкая, будто немного испуганная линия губ.

Девочка наблюдала, как из-под его пальцев рождается что-то новое, почти живое. Она хотела спросить, почему он делает её лицо, но не решалась. Вместо этого приносила ему воду, следила, чтобы в доме никто не мешал ему работать. Маска сохла долго, и каждый день он заглядывал в неё, будто ожидал, что вот-вот появится знак.

В тот вечер, когда маска уже почти высохла, Сайр услышал из колодца голос. Было темно, воздух стоял неподвижно, только из глубины доносилось то самое «ржавое пение». Он не понял слов, только имя, своё, настоящее, то, что никто не должен был знать. Маска дрожала в его руках, и в какой-то миг он не выдержал, и бросил её вниз. Вода захлебнулась, по колодцу пошёл гул, будто там в самом деле жило нечто живое.

Он стоял, прислушиваясь, пока всё не стихло. Потом прикоснулся к уху, в нём что-то зазвенело, как если бы внутрь попала ржавая иголка, и с того дня он всегда слышал в себе этот звон, особенно по ночам.

Об этом он никому не говорил, только девочке однажды намекнул, что не любит, когда кто-то называет его по имени, особенно в темноте. Она понимала, что это не страх, а что-то вроде обета: раз произнесённое имя однажды стало чужим, его нельзя вернуть обратно.

Флешбеки становились всё чаще, всё глубже. В одном из них девочка вспоминала, как они впервые вошли в пещеру и долго стояли, слушая тишину, а потом увидели на стенах старые знаки – имена, которые никто не мог прочитать. Они пытались скопировать их на свои ладони, на плечи, на щёки. Иногда ночью девочка просыпалась и смотрела на свои руки: там, где днём был только след от палочки, в полутьме проступали светящиеся линии, словно сама пещера отпечаталась в её коже.

Однажды Сайр признался, что пытался однажды повторить имя девочки вслух. Это было в ту ночь, когда кукла впервые шевельнулась. С тех пор, когда он засыпал, ему казалось, что кто-то поёт в его ухе, не песню, а бесконечную дрожащую ноту, похожую на ржавый ветер.

– Я хотел позвать тебя по-настоящему, – признался он, – но теперь этот голос во мне. Я не могу его выгнать.

– А если я назову тебя, тебе станет легче?

– Не знаю, – покачал он головой. – Может, станет только хуже.

И всё же однажды она решилась. Когда они снова были в пещере, сидели спиной к спине, девочка тихо произнесла его имя, вложив в него всё тепло и страх, всю память, что у неё была.

В этот момент Сайр улыбнулся, так тихо и слабо, что улыбка была почти невидимой.

– Я всё равно останусь, – сказал он тогда. – Даже если меня забудут.

В эти редкие минуты, когда прошлое и настоящее складывались в один длинный, непроизнесённый вздох, им обоим казалось, что они живут не в тени, а на краю огромного, неведомого света, где всё ещё возможно быть кем-то настоящим.

Дом из костей всё чаще становился их прибежищем, теперь уже не детским, а почти взрослым. Они почти не играли, но продолжали рисовать новые знаки, вырезать на коре символы и хранить тайны, которые знали только вдвоём. Внутри этого круга никто не мог их забыть, потому что их память была написана не словами, а теми знаками, которые остались на коже, на глине, на стенах пещеры и даже в дрожащем воздухе, когда кто-то произносил имя слишком тихо, чтобы его слышали другие.

В какой-то момент девочка поняла: их детство ушло, но память о нём осталась. Она стала чем-то вроде камня, который носишь с собой тяжёлым, холодным, но своим, единственным, что не заберёт ни одна ночь, ни один голос из колодца, ни один забытый бог, живущий под этой землёй.

Они не считали свои годы и не отмечали дни рождения: даже это понятие казалось чуждым в деревне, где само время не любило называться вслух. Всё важное приходило по кругу – неотличимо: день или ночь, зима или лето, детство или тот самый невидимый порог, за которым начинаешь быть не только собой, но и всем, что хранишь в себе.

С каждым месяцем круг их игр сужался, а тени становились ближе, не только вокруг, но и внутри. Ода и Шеур уже почти перестали приходить к дому из костей: Ода заболела, а Шеур сказал, что его зовёт кто-то в болоте. Девочка и Сайр остались вдвоём, как будто вся жизнь их вела к этому молчаливому, странному союзу.

Вспоминалось, как однажды весной, когда на болоте ещё держался тонкий, ломкий лёд, они нашли мёртвую птицу с белыми крыльями и чёрным глазом, в котором отражалась вся их детская тоска. Сайр осторожно взял перо, поднёс к уху, словно желая услышать последнюю песню, и вдруг произнёс, не вслух, а выдохом: «Если у неё нет имени, она останется с нами». Девочка уложила птицу в центр круга из костей, и с тех пор ни одно животное не приходило в их домик. С этого дня во всём, что касалось смерти, появилось странное уважение и тайная близость: не страх, а принятие, как если бы имя любого ушедшего было не потерей, а обещанием возвращения.

По ночам девочка слышала, как Сайр лепит новые маски. Он делал это в полной тишине, освещая лицо фонарём, в котором фитиль был почти выгоревшим. Его пальцы были всегда в глине, ногти потемнели, а по запястьям прошли красные нити, как будто с каждым прикосновением к мокрому, тяжёлому материалу он становился ближе к земле, к той самой тьме, откуда взялись все их страхи и ритуалы.

Иногда он говорил ей, не поднимая глаз:

– В каждом из нас живёт кто-то, кого нельзя забыть. Я леплю твои черты не потому, что боюсь забыть тебя, а чтобы помнить себя рядом с тобой.

– А если я уйду первой? – спрашивала девочка.

– Тогда я вырежу своё имя в пещере, и оно исчезнет только тогда, когда исчезнут все камни.

Её пугала эта обречённость. Иногда она думала: неужели можно стать чьей-то памятью навсегда, не спасаясь даже во сне?

В один из особенно долгих, липких по воздуху вечеров, когда лампы не зажигались даже после молитв Йоры, они с Сайром решились на новый ритуал. Они шли через огороды, мимо старых развалин, к тому самому колодцу, где когда-то раздался голос и исчезла маска. Теперь, после всего, что случилось, колодец казался им ещё глубже, ещё темнее. Сайр принёс остаток новой маски, ту самую, что лепил, вложив в неё все страхи, всю нежность и всё, чего не мог сказать вслух.

– Может, если опустить её сюда, голос вернётся и расскажет нам свою историю? – спросила девочка, держась на расстоянии.

– Нет, – покачал он головой. – Если отдать всё колодцу, ничего не останется у нас.

Они опустили маску в ведре, держали над чёрной, бездонной водой, смотрели, как в ней дрожит их двойное отражение – мальчика и девочки, не похожих друг на друга. Девочка вдруг вслух, впервые за много месяцев, произнесла слово, похожее на имя, не своё и не его, а что-то среднее между их дыханиями.

В этот момент из глубины донёлся отголосок ржавого пения. Оно не было страшным или злым, скорее уставшим, таким, что отзывается где-то в висках, когда долго смотришь на пламя. Сайр невольно прижал ладонь к уху, девочка вздрогнула, и оба вдруг заплакали, не от страха, не от боли, а от того, что впервые ощутили: за их игрой стоит чужая воля, и кто-то действительно может прийти за ними, если они откроют миру свои имена.

После этого колодец стал для них местом, куда приходили молчать. Они больше не опускали туда игрушек, не бросали маски, но каждый раз, когда по вечерам тревога становилась невыносимой, просто садились рядом и слушали, как в глубине что-то шевелится, капает, поёт. Иногда голос повторялся, не имя, а какой-то неведомый слог, от которого в груди стыла кровь.

В школе молчания они теперь почти не рисовали. Девочка всё чаще просто сидела, уперев подбородок в ладони, а учительница смотрела на неё долгим, прозрачным взглядом, будто видела её насквозь. Иногда после уроков Сайр писал ей знаки на запястье, и они оба знали: даже если сотрёшь, внутри всё равно останется след, незримый, но твёрдый, как кость в земле.

Йора начала болеть, долго кашляла ночами, перестала есть хлеб, всё больше смотрела в окно. Однажды она подозвала девочку, дала ей старую тряпку и сказала:

– Вытри зеркало. Но не смотри в него дольше, чем семь вдохов.

Девочка послушалась, но всё равно почувствовала, как в отражении за её спиной мелькнуло лицо – не её и не Йоры, а что-то смазанное, древнее, с трещиной на лбу и полуприкрытыми глазами. В ту же ночь ей приснился сон: Сайр сидит у колодца, вокруг лежат маски, а по воде бежит ржавый, хриплый голос, который зовёт не только его, но и её.

Проснувшись, девочка поняла, что их связь с Сайром больше не игра и не дружба, а что-то гораздо более опасное. Они стали неразделимы даже во снах, и если один забывал жест, второй тут же вспоминал его за двоих.

Однажды во время очередного похода в пещеру, где на стенах оставались их детские знаки, девочка задержалась у особенно старого узора, похожего на трещину, идущую через весь свод. Она провела по нему пальцем и почувствовала лёгкий озноб, как если бы кто-то другой касался её изнутри. Сайр подошёл, приложил ладонь к тому же месту, и в этот миг оба услышали в ушах ржавое пение, теперь уже общее, как эхо их собственных шагов, отражённых в стенах древнего холма.

– Это наше имя, – сказал Сайр так тихо, что его слова не отразились ни в воздухе, ни в пыли.

Они стояли в пещере очень долго, пока день не перетёк в ночь, и только потом вернулись домой не оборачиваясь, не разговаривая, зная: теперь даже если все в деревне забудут их, между ними останется то, что сильнее любого имени и любого молчания.

И в этот день детство, как невидимый дым, покинуло их тела, но осталась память – о доме из костей, о кукле с движущимися глазами, о ритуалах, вписавшихся не только в их кожу, но и в саму ткань этого мира, где даже голос забытого может однажды стать песней, ведущей сквозь тьму.

Дальнейшие дни становились всё гуще, вязко-тёмными, и каждый из них нёс в себе не столько события, сколько внутреннее сдвигание, незаметное снаружи, но неотвратимое, как ход часов, которые здесь идут назад, и если приглядеться к стрелкам, можно увидеть: каждое мгновение исчезает, как только ты успеваешь его осознать. В этих днях и ночах девочка и Сайр

существовали на границе бытия и сна, будто жили не в одном, а в двух слоях реальности – здесь, среди старого быта, пруда, колодца и школы молчания, и там, где не было слов, а были только знаки, дыхание и зов, который никто другой не слышал.

Йора с каждым утром становилась всё прозрачнее, голос её глух, движения были вялыми, а взгляд туманным, будто всё в мире происходило за стеклянной преградой. Она перестала выходить во двор и только иногда кликала девочку, чтобы та помогла разжечь лампу или натереть хлеб солью. Становилось ясно: память и у Йоры тоже начала выцветать, и в редких разговорах девочка замечала, как мать забывает не только даты, но и слова для самых простых вещей – ложки, окна, собственного лица в зеркале. Тогда девочка беззвучно подходила, обнимала её за плечи и молча гладила по спине: так, как когда-то Йора укачивала её, не в силах назвать её по имени.

В эту пору, когда всё вокруг будто бы сужалось к единственной точке, к дому из костей, к пещере, к отражению в воде, Сайр, казалось, становился всё дальше, даже когда был рядом. Иногда он приходил по ночам, садился у окна и смотрел, как девочка плетёт верёвку из лоскутков или перебирает свои детские трофеи: стеклянные бусины, гладкие камешки, кости воробья, полоску глины с начерченным знаком, обломок маски. Между ними будто всегда висело нечто недосказанное: тень, которая лежала не только на их словах, но и на самой возможности говорить. Говорить здесь – значит рисковать стать уязвимым.

Однажды, когда лампы коптели особенно густо, а в печи треснуло полено, Сайр произнёс впервые за долгое время:

– Когда я слышу свой голос в колодце, мне кажется, что это не я, а кто-то старше меня на много жизней.

Девочка помолчала, положила ладонь ему на плечо, и почувствовала, как под кожей дрожит неуверенность, или страх, или то странное ржавое пение, что с тех пор, как он бросил маску, стало жить где-то в глубине его черепа.

– А если я тебя позову... – начала было она, но не закончила.

– Не зови, – очень спокойно попросил он. – Пусть имя будет только во мне. Пока оно здесь – я не уйду. А если уйду, значит, так надо.

Она ничего не сказала. Лишь крепче сжала в кулаке свой старый тряпичный лоскут, тот, на котором когда-то вышила неузнаваемый, придуманный ими символ.

В их детских ритуалах не было ни побед, ни проигрышей. Всё, что они делали, имело смысл только для них двоих: писать знаки друг на друге, оставлять новые надписи в пещере, которые исчезали к утру, складывать косточки в определённом порядке, чтобы «переписать» чью-то забытую историю. Иногда к ним присоединялись другие дети, но вскоре все исчезали, забывались, растворялись во тьме. Кто-то становился совсем тихим, кто-то болел, кто-то однажды просто не приходил, и про него больше не вспоминали. Так, шаг за шагом, дом из костей становился не игрой, а убежищем для тех, кто не хотел исчезнуть.

В какой-то из таких дней девочка заметила: кукла с каменным лицом, которую они хранили теперь в глубине домика, стала легче. Как будто из неё ушла часть глины, или, может, кто-то по ночам вынимал из неё своё дыхание. Она достала её на свет, и, присмотревшись, вдруг увидела: глаза у куклы по-прежнему глубокие, но взгляд стал пустым, не узнающим, как у людей, про которых в деревне говорят: их уже позвали по имени, но они не услышали.

Она отнесла куклу к пруду, опустила её в воду и долго смотрела, как по поверхности расходятся круги. Солнца всё равно не было, но отражения становились всё менее похожими на неё, и однажды среди мутных пятен воды она увидела свой собственный взгляд – и вдруг испугалась, что её собственное лицо однажды перестанет отвечать ей взаимностью.

В этот день Сайр был мрачен и замкнут. Он ничего не рисовал на её руке, только взял у неё ладонь, прижал к своей груди и долго слушал, будто хотел услышать не сердце, а что-то

другое, что-то, ещё не ставшее ни словом, ни тенью, ни знаком на коже. Девочка почувствовала: это было прощание, но не последнее.

На ночь она вернулась домой и долго лежала без сна. В темноте казалось: дом стал шире, стены дышат, а тени на потолке двигаются медленно, словно воды в глубине пещеры, где когда-то они оставили свои первые знаки. Йора кашляла, а потом тихо звала её, не по имени, а просто, протягивая к ней руки. Девочка прижималась к матери и думала: если однажды всё забудется, останется только этот жест – тёплая, тяжёлая ладонь на затылке, запах хлеба и соли, дрожание дыхания на виске.

Время шло, и теперь они реже бывали вместе, но связь между ними только крепла. Каждый их взгляд, каждый вздох, каждый неловкий жест был соткан из общей памяти, которую невозможно было никому объяснить. Иногда Сайр приходил к ней во сне, не как друг, а как тень, как голос из колодца, как незнакомый мальчик, который боится называть себя. В этих снах они вместе шли по длинному коридору, где на стенах проступали их же знаки, но каждое имя было выцарапано другой рукой. Однажды во сне она услышала, как кто-то поёт его имя, поёт не словами, а ржавым, шуршащим голосом, от которого даже в полусне по коже бежит холод.

Проснувшись, она плакала, от тоски, от страха, от ощущения, что однажды все их следы сотрутся, и некому будет их вспомнить.

Они встречались реже, но эти встречи становились более настоящими, чем всё, что происходило вокруг: длинные, молчаливые прогулки к болоту, тайные ритуалы с камнями и куклой, новые знаки в пещере, где теперь, казалось, оседала их личная вечность. И каждый раз уходя друг от друга, они знали: если сегодня кто-то из них исчезнет, другой всё равно будет помнить.

Вскоре всё изменилось: Йора слегла, дом стал напоминать оспенную кожуру старой лампы, лампы дымили и чадили, хлеб зачерствел, дети на улице не появлялись. В этот вечер девочка долго сидела у пруда, слушала, как в темноте кто-то копошится на другом берегу, может, лисица, может, исчезающий сосед, а может, сама тьма, с которой им предстоит говорить на равных. Она не боялась, только крепче прижимала к себе тряпичную куклу, ту самую, когда-то подаренную ей Йорой, как залог молчаливого присутствия. И когда в воде вдруг появился слабый отблеск лица Сайра – не отражение, а память о взгляде, она поняла: всё, что им нужно знать друг о друге, живёт не в словах, а в этом странном молчании, в ритуале не-прощания, не-расставания, не-называния друг друга.

На следующее утро, ещё до рассвета, девочка встала и пошла к дому из костей. Внутри всё было таким же, как всегда, только в воздухе чувствовалась усталость, как после долгой зимы. На стене она нашла след от своей ладони, смазанный, выцветший, но узнаваемый по изгибу большого пальца. Рядом был свежий знак – спираль, которую Сайр оставил, когда они в последний раз вместе рисовали на друг друга.

Она присела у стены и долго смотрела на этот след, чувствуя: внутри неё открывается что-то новое, большее, чем память о детстве, чем страх быть забытой, чем даже любовь, которую никто не может назвать. Это было не имя и не слово, просто присутствие, которое остаётся даже тогда, когда никто не может тебя позвать.

В этот момент она услышала снаружи знакомое «ржавое пение», и ей стало не страшно: значит, Сайр всё ещё здесь, значит, никто не забыт, пока хотя бы один человек носит на себе его знак.

И только тогда она позволила себе впервые за долгое время улыбнуться, той самой тихой, почти невидимой улыбкой, с которой когда-то смотрела в глаза кукле с каменным лицом.

И снова дни становились неразличимыми – время сползало по стенам домов, растекалось по промёрзшей земле, проникало под ногти, делало воздух всё плотнее, а голоса всё реже и тише. Девочка чувствовала, как в ней самой разрастается пустота, но эта пустота не была

безысходной: в ней рождались новые знаки, новые смыслы, которые нельзя было произнести, только почувствовать кожей, дыханием, прикосновением. Сайр теперь почти не ходил в дом из костей. Он подолгу сидел у колодца, водил по ободку пальцем, словно настраивал свою внутреннюю струну на чужую, неведомую мелодию. В эти моменты в его глазах была такая сосредоточенность, будто он учился слушать не только себя, но и весь тёмный, забытый мир.

Девочка подходила к нему молча, садилась рядом. Иногда они сидели так по несколько часов, не говоря ни слова, им и не нужно было. Всё важное было уже сказано до этого, написано на коже, вырезано на глине, растворено в воде колодца. Только раз, когда солнца не было уже третью неделю, даже тот обманчивый утренний отблеск, что иногда прорывался сквозь лампы, исчез без следа, Сайр вдруг повернулся к девочке и очень тихо сказал:

– Если меня позовут, а я не отвечу, не ищи меня в этом мире.

Она не ответила, только крепче сжала его руку, и почувствовала, как дрожит его ладонь. Тогда она впервые подумала, что время – это не только их враг, но и единственный свидетель того, что между ними было, есть и останется, даже если имена исчезнут.

Той же ночью ей снились не куклы, не маски, не голоса из колодца, а тёмная вода, в которой отражались все знаки, которые они когда-либо рисовали друг на друге, на стенах пещеры, на запотевшем стекле школы. Отражения становились всё глубже, и в каждом из них мерцало лицо: то девочки, то Сайра, то кого-то третьего, забытого, но не исчезнувшего окончательно.

В деревне в это время начались странные слухи. Говорили, что в подвале старого дома за огородами кто-то слышал шаги и бормотание, что в пещере находят новые знаки, которых не было ни у одного ребёнка, что из колодца вылетела стая воробьёв с чёрными глазами. Всё это подогревало атмосферу тревоги: теперь даже старики не рисковали выходить ночью, а двери запирали на двойные засовы, как будто тьма, так долго терпеливо жившая среди них, наконец решила напомнить о себе.

Девочка всё чаще оставалась у окна, и смотрела, как за домом мелькают чужие тени. Иногда ей казалось, что среди них появляется и её собственная, но она двигается отдельно, как если бы кто-то уже примерялся, не взять ли это тело, этот голос, эту память себе. Она берегла свои тряпичные куклы и осколки маски, зарывала их в саду или клала под подушку, как обереги.

В одном из последних осенних снов ей пришло откровение. Она шла по длинному коридору, где на стенах росли не знаки, а имена, тёмные, глубокие, почти вырезанные в живой плоти. Каждый раз, когда она проходила мимо, имя начинало петь по-разному: кто-то свистел, кто-то стонал, кто-то смеялся. Она искала имя Сайра, но нигде не могла его найти, только странное ржавое пение, живущее теперь и в её собственном ухе.

На следующий день, когда девочка пришла в пещеру, она увидела на стене новый знак, не свой и не Сайра, но знакомый до боли. Это была та самая спираль, которую они рисовали друг на друге, только теперь она была разбита пополам, а рядом кто-то нацарапал две точки и линию, как если бы пытался обозначить разорванную связь.

С этого дня она больше не боялась колодца. Подходила к нему каждый вечер, смотрела в глубину, иногда шептала туда свои мысли, свои не-произнесённые имена, свои страхи. Она не ждала ответа, но каждый раз в темноте слышала знакомое пение, ржавое, щемящее, родное. Это стало для неё новым ритуалом: если нельзя позвать никого в этом мире, значит, можно быть голосом для того, кто уже почти ушёл.

Всё в деревне стало ещё более прозрачным: окна запотевали сразу после рассвета, хлеб крошился от малейшего прикосновения, вода в пруду мутнела, а у Йоры на лице проступали незнакомые черты. Мать почти не вставала, часто путала дочь с кем-то из прошлой жизни, иногда называла её чужим именем, а потом смеялась и плакала сразу.

В эти дни девочка окончательно поняла: всё, что у неё осталось, – это её собственная память, её страх быть забытой и тот тонкий, неразрывный след, который оставил Сайр, лепя

маски и рисуя на её коже. Она берегла этот след, как берегут драгоценный камень или самый последний клочок земли, не тронутый снегом.

Когда в деревне совсем перестали говорить о будущем и даже старики перестали вспоминать солнце, девочка решила снова написать своё имя на стене пещеры. Она взяла кусочек угля, выбрала самое укромное место, там, где стены сходились под острым углом и всегда стояла полутьма, и вывела буквы не тем почерком, которому учили в школе, а так, как когда-то учил её Сайр: с завитками, спиралями, не для глаз, а для памяти. Она знала, никто не прочтёт, но когда-нибудь кто-то проведёт по этим линиям пальцем и почувствует, как в стене дрожит тепло: вот здесь когда-то был кто-то, кто не хотел быть забытым.

Последние ночи перед тем, как в деревню должна была вернуться Пустота, она слышала сквозь сон, как кто-то зовёт её, не голосом, а просто присутствием, как ветер, просачивающийся под дверь и зовущий выйти во двор, даже когда нет смысла идти. Иногда она выходила, босиком, в старой рубахе, прижимая к груди куклу. Стояла под чёрным, глухим небом, всматривалась в темноту и, наконец, произносила шёпотом не своё имя, не имя Сайра, а их общее, которое не имело ни букв, ни звука. Просто дыхание, чтобы кто-то, где бы он ни был, услышал и ответил ей своей тишиной.

Однажды утром, когда даже лампы не зажглись от привычного обряда, девочка обнаружила на подоконнике свежий знак: масляное пятно в виде спирали и две скрещённые линии, как у птицы на льду. Она улыбнулась, впервые за много дней, потому что знала: что бы ни случилось дальше, пока эти знаки живы, пока её память держит их на кончиках пальцев, никто и ничто не может её стереть.

В этот момент она поняла: детство её закончилось не в страхе и не в одиночестве, а в том особом мире, который они построили с Сайром – мире знаков, песен, молчания и нежности. Пусть даже ржавое пение больше не покидало его ухо, пусть даже в колодце кто-то ждал, пусть даже все имена будут когда-нибудь забыты, останется то, что невозможно назвать, но можно хранить в себе, пока есть дыхание и свет хоть одной, самой старой лампы.

Девочка закрыла глаза, вдохнула сырой, промёрзший воздух и шепнула:

– Я помню.

Это было не имя и не крик. Это было всё, что у неё осталось, и всё, что делало её живой в этом безымянном, тёмном мире.

### Глава 3. Игры пустоты

В деревне, где солнце не встаёт, любые перемены случаются не сразу, а скапливаются долго, как холод в стенах, как ржавчина в часах, как забытый вопрос в сердце. С приближением осенних сумерек, которые здесь никогда не кончаются, мир становился особенно тесным: лампы дрожали, хлеб черствел до каменной крошки, вода становилась солоноватой, а все разговоры в доме Йоры и на пустынных улочках сходили к одному, – к Игре Пустоты.

Этот обряд был самым старым из всех: его не объясняли, только повторяли, как мольбу, которую забыли осознанно. Каждый год, когда ночь затягивалась так долго, что даже у самых терпеливых стариков дрожали руки, из домов выводили девушек, только тех, кто уже не дети, но ещё не женщины. Считается: если ты не пройдёшь этот обряд, твоё имя навсегда останется чужим, а отражение пустым.

Айрина с ранних лет слышала шёпоты о ритуале, видела, как у старших девочек становились тяжелее взгляды, а по утрам на их щеках оставались странные полосы, будто от слишком тугих кос. Но в этом году обряд пришёл и к ней. Она не помнила точного дня, когда Йора впервые начала готовить для неё чёрное платье из тяжёлой, как сумерки, ткани, длинные рукава и венец из вороньих перьев, который щекотал кожу, если надеть его слишком низко.

На рассвете, который ничем не отличался от ночи, Йора разбудила Айрину. Она не сказала ни слова, только накрыла ей плечи тёмной накидкой, тщательно вытерла лицо влажной тряпкой и велела не открывать губ «до тех пор, пока не позовут». В кухне уже стояла миска с остывшей водой, рядом лежала игла с чёрной нитью, это была не угроза, а предупреждение: у тех, кто нарушит молчание, рот зашивают прямо во дворе.

Айрина молчала. Её страх был почти ледяным, но он был не о смерти, а о том, что она может исчезнуть так же, как исчезают имена с грязных стен и старых камней у пруда. В этот день в доме пахло горелым сахаром и ветхим деревом, воздух был густой и щекотал лёгкие. Она почти не думала о том, что ждёт её впереди, только смотрела, как тень Йоры, скользя по полу, будто становится длиннее, тоньше, уже похожа не на материнскую, а на тень незнакомки.

На дворе уже собрались другие девушки – всего шесть, все в одинаковых венцах, в платьях, которые тянулись по земле, как вуали. У самой калитки стояла Лена, чьи тёмные волосы были заплетены в косу, а лицо напоминало кусочек хлеба, такое же светлое, тёплое, немного упрямое. Лена была старше Айрины, но именно к ней все остальные обращались взглядами, ища поддержки, хотя говорить не смели.

Женщины из старших домов закутали им рты чёрной материей, поверх которой тонкой иглой и крепкой нитью сделали по несколько стежков, не до крови, но так, чтобы нельзя было открыть рот без боли. Этот жест казался странно заботливым, как если бы они пытались удержать каждое слово внутри, чтобы оно не выпало случайно на тротуар и не исчезло среди мокрой земли.

Перед девушками выстроили три предмета – гладкое зеркало, железную жаровню с серым пеплом, сосуд с мутной водой. Старшая женщина подняла руки и, не говоря ни слова, указала на зеркало. По традиции, первая шла Лена. Она опустилась на колени, склонилась над зеркальной гладью и не дышала. По правилам, нельзя моргать, нельзя выдохнуть, нельзя даже вздохнуть, только смотри вглубь, пока не увидишь себя или свою тень.

Айрина наблюдала за её лицом. Оно постепенно бледнело, зрачки становились шире, а губы под швом дрожали, будто Лена вот-вот сорвётся с места, вырвется наружу, закричит. Но она выдержала, поднялась и отступила к остальным.

Следом за ней шла Айрина. Она всмотрелась в зеркало, и вдруг ей показалось, что лицо её – не её. Глаза казались старше, волосы темнее, а губы, сдавленные чёрной нитью, дрожали, будто прося прощения за чужие слова. В отражении что-то дрогнуло: в глубине зеркала будто

промелькнула чужая тень, не её, не Лены, а кого-то третьего, чьё имя она забыла ещё до того, как его выучила. Айрина с трудом выстояла, не разрывая взгляда.

Третьей шла самая младшая – Майра, у которой всегда был слишком высокий голос и слишком быстрые руки. Она не выдержала, закрыла глаза, отпрянула от зеркала, и её тут же увели две старухи, повязали глаза и оставили стоять в сторонке. Считается: если ты не выдержал испытания отражения, ты не пройдёшь и дальше.

Следующее испытание – пепел. В железной жаровне горсть обугленных букв: это были клочки старых книг, детских тетрадей, обрывки газет и молитв. Каждый должен был опустить руки в пепел и найти там своё имя. Если найдёшь – можешь пройти дальше. Если нет – будешь считать, что имя твоё сторело и тебя никто не вспомнит.

Лена медленно ворошила пепел, казалось, она ищет не буквы, а саму себя. Через несколько минут она вытащила из кучи обугленный клочок, на котором угадывалась только одна буква: Л. Её глаза наполнились слезами, но она кивнула и пошла дальше.

Айрина долго не могла решиться. Пепел был холодным, мокрым, въедался под ногти, оставляя чёрные полосы. Она почувствовала – внутри, на самом дне, лежит что-то твёрдое. Нащупала кусочек бумаги, вытянула его наружу, на нём не было ничего, кроме грязного следа, похожего на спираль. Она не знала, что это значит: её имя исчезло или ещё не было написано?

Обряд продолжался, последним испытанием была вода. Перед каждой девушкой ставили глубокий сосуд, в котором вода была тёмной, почти густой, как ночь за окнами. Нужно было опустить в неё ладони и смотреть в отражение, пока не увидишь свою смерть. Лена подошла первой, склонилась над водой, долго смотрела, и вдруг вздрогнула, отпрянула, но не закричала. Старухи поддержали её и вывели в сторону. Айрина в этот момент почувствовала дрожь, как будто внутри неё всколыхнулась вся прежняя тревога.

Когда очередь дошла до Айрины, она колебалась, сердце билось слишком громко, руки дрожали. Она опустила пальцы в воду и увидела сначала своё лицо, потом оно стало расплываться, дрожать, превращаться в силуэт, который медленно уходил в темноту. В этот момент ей показалось, что кто-то дотронулся до её затылка. Она хотела повернуться, но не могла, только смотрела, как в отражении медленно проступает образ: женщина в чёрном венце, с пустыми глазами, у которых нет ни зрачков, ни ресниц. Она стояла у алтаря и смотрела прямо на неё.

Айрина выдернула руки из воды, они были ледяными. Никто ничего не сказал, но взгляд старшей женщины был долгим и тяжёлым: теперь ты не просто ребёнок, теперь ты помнишь свою смерть.

После испытаний всех девушек вывели в круг, молча сняли с них венцы, аккуратно разрезали чёрную нить на губах. В этот миг никто не говорил ни слова, только смотрел на друг друга с таким выражением, как будто только что вернулся из другой жизни. Лена стояла рядом с Айриной, её глаза были сухими, губы дрожали, но она не плакала.

Поздно ночью, когда все разошлись по домам, в деревне воцарилась особая тишина. Айрина долго не могла уснуть. Во сне к ней приходила Лена, не как подруга, а как тень, в глазах которой светилась усталость, а на губах оставался след чёрной нити.

Утром, когда Айрина вышла на улицу, она увидела, что у дома Лены дверь открыта настежь, а внутри только пустота. Никто не вспоминал Лену: её мать смотрела в окно с отсутствующим взглядом, отец чинил крышу, будто ничего не произошло. На кухне у Йоры тоже никто не говорил о девочке, будто её никогда и не было. Только Айрина чувствовала: что-то исчезло, как если бы из памяти вырвали строчку, которую невозможно вернуть.

Айрина попыталась рассказать об этом Йоре, но та только качала головой:

– Ты, должно быть, путаешь, – сказала она, – у нас нет такой девушки.

Айрина вышла во двор, взяла острый камень и нацарапала на заборе: «Если я исчезну – вспомни меня». Она смотрела на надпись так долго, как будто верила, что солнце всё-таки

взойдёт и осветит её. Но утром, когда она вышла, надписи не было, как будто её стерли, или как будто никто никогда не писал её.

С этого дня Айрина стала чувствовать странный холод в груди, как если бы у неё внутри поселилась вода из того самого сосуда, в котором отражалась её смерть. Каждый раз, когда кто-то в деревне начинал говорить о невесте, пусть даже не о ней самой, ей становилось не по себе, а в зеркалах по дому начиналась дрожь, будто в них кто-то невидимый дышит сквозь неё.

Деревня продолжала жить, как и прежде: дети играли в молчание, старики тянулись к печам, матери пекли хлеб, но Айрина знала, теперь мир изменился для неё навсегда. Она стала не только свидетелем, но и хранительницей исчезнувших имён, и в этой памяти была её единственная защита от того, чтобы исчезнуть самой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.